

ЛОКАРМЕН

РАСКРЕЗЫ

Лазарь Кармен

Разменяли

В Одессе нет улицы Лазаря Кармена, популярного когда-то писателя, любимца одесских улиц, любимца местных «портосов»: портовых рабочих, бродяг, забияк. «Кармена прекрасно знала одесская улица», – пишет в воспоминаниях об «Одесских новостях» В. Львов-Рогачевский, – «некоторые номера газет с его фельетонами об одесских каменоломнях, о жизни портовых рабочих, о бывших людях, опустившихся на дно, читались нарасхват... Его все знали в Одессе, знали и любили». И... забыли?..

Он остался героем чужих мемуаров (своих написать не успел), остался частью своего времени, ставшего историческим прошлым, и там, в прошлом времени, остались его рассказы и их персонажи. Творчество Кармена персонажами переполнено. Он преисполнен такой любви к человекам, грубым и смешным, измороженным и мечтательно изнеженным, что старается перезнакомить читателей со всем остальным человечеством.

Содержание

I.....	.0005
II.....	.0008
III.....	.0010
IV.....	.0011
V.....	.0012
VI.....	.0014
VII.....	.0015
VIII.....	.0016
IX.....	.0017

Лазарь Кармен Разменяли

Полутемный лабаз Ивана Гусятника на Глазовой колоколом гудел от множества бабьих голосов. Выдавали по карточкам хлеб, и, как мухи, облепили бабы прилавок, за которым двое разбитных молодцов в ухарских картузах быстро и ловко, на манер фокусников, резали свежий дымящийся хлеб, бросали его на весы и совали в руки бабам.

Часто откидывалась дверь смежной темной комнаты, и оттуда появлялся мальчишка с двумя-тремя огромными хлебами, только что вынутыми из печи и окутанными паром.

Пахло сильно кислым тестом и дрожжами. Бабы ругали молодцов.

– Черная немочь на вас. Невыпеченным хлебом торгуют, гляди: совсем сырое, нешто детям давать его можно – животы горой вздует.

– А они нарочно, ироды, не выпекают, на мешок муки пуд выгадывают. Я знаю, мне кум кондитер говорил.

– Да ты как вешаешь! Прикинь еще раз: жульничать не позволю!

– Кровоопийцы! Обирают народ. Муж мой в окопах, а они на наших костях наживаются.

Молодцы пропускали мимо ушей брань, точно не их касалось. Привыкли. Изредка лишь один нахал осклабится и обронит цинично:

– Правильно, тетка Секлетея, шпарь... Эй ты, гундосая, – получай на шестерых.

И прибавит по адресу молодчика, дежурящего у дверей и сдерживающего натиск с улицы полчища баб:

– По двое, по двое впускать, а напирать будут – по шапке...

Бабы не щадили и самого хозяина. Массивный, грузный, с лоснящимся рыжебородым лицом, он стоял в тени в конторке и, пыхтя и отдуваясь, проверял чеки. Как и молодцы, он не прислушивался к бабам.

В числе нескольких баб пробилась в дверь молодая женщина в шляпе и накидке. Она оглянула полки, достала кусок мыла и справилась о цене у Гусятника. Он поднял на нее насмешливые глаза и ответил:

– Одиннадцать рубликов...

– Молодая женщина схватилась рукой за

грудь и зашаталась.

– Боже мой, неужели так дорого. Ведь так жить невозможно.

– Завтра, сударыня, дороже будет-с...

Молодая женщина покачала скорбно головой и дрожащей рукой отсчитала одиннадцать рублей.

— Многогая лета Ивану Алексеевичу! Гусятник, не снимая пухлой руки со счетов, весело кивнул головою маленькому замызганному человеку в драном пальто и дворянской фуражке.

— Поезд в Царское, Иван Алексеевич, идет через час. Идем.

— Чего так вдруг?

— Да мы ведь на сегодня условились. Должно, запамятовали. Откладывать невозможно, а то из-под носу выхватят. Вчера опять дом смотрел, и важнецкий. Жандармский полковник там жил раньше, Фокин, — слышали? Первая при дворе персона... Два флигеля, паровое отопление, оранжерея. Дворец.

Гусятник почесал за ухом.

— Ладно уж, поедем, только счета закончу и пообедаем. От водки небось не откажешься?

— Помилуйте. Водка. В этакое антигосударственное время...

Через некоторое время оба сидели за столом в тесной квартире Гусятника, и им прислуживала жена лабазника — рыхлая, добро-

душная женщина. Обед был сытный – жирные щи, телятина, взвар из сушеных фруктов.

– Ну, уж и угостили, Иван Алексеевич, – говорил размякший от водки гость.

– Поди-ка поищи сейчас по всему Питеру такой обед. Генералы с подведенными животами сидят. Много на газетках расторгуются они. Погоди-ка. – Он подмигнул глазом и торжественно извлек из-под дивана бутылку старого лафиту и поставил на стол...

Поздним вечером вернулся Гусятник из Царского Села и велел жене поздравить его с покупкой дома. Он не мог нахвалиться им. Подлинно дворец. И так недорого – триста тысяч. Сто сейчас, двести в рассрочку, на год.

Он хлопнул по мягкой, как бы разваренной, спине жены, слегка привлек ее к своей бабьей груди и воскликнул:

– Погоди малость еще, вон зашабашут немцы, война окончится, бросим лабаз. Довольно, на нашу старость хватит; переедем в Царское, воздух-то там какой, а вода... Огород заведем, сад и собственную малинку с чаем есть будем... Ходи веселей, старая. Мишка, граммофон – «Ехал на ярмонку ухарь купец»...

IV

Полгода прошло со дня покупки в Царском доме Гусятником, но ни разу он не вспомнил о нем.

Надо было давно съездить туда, договорить дворника, садовника, да все некогда было. Никогда так много не торговал лабаз. Каждый день повышался товар в цене, и чем ту же захлестывалась петля вокруг родины, освобожденной от царизма, но изнемогающей в борьбе с немцами, чем больше нищал город, чем тяжелее становилась железная поступь царя-голода, победоносно шествующая по рабочим кварталам, тем жаднее и загребистее становился Гусятник. Подобно коршуну, рвал он направо и налево, копя в холщовых кошельках керенки...

Петроград бурлил, как расходившийся океан. На всех углах в белые ночи собирались толпы и страстно спорили до зари. Споры доходили нередко до кулаков и обвинений в шпионстве. Часто, через каждые десять слов, повторялось имя Ленина, и невольно проникался каждый удивлением при рассказах об этой таинственной личности. Месяц только назад приехал он сюда и взбудоражил от края до края этот океан-город.

Ежевечерне с балкона дворца Кшесинской он бросал в толпу огненные лозунги, и эти лозунги подхватывались и разносились, как высшее откровение, заставляя низы глубоко задумываться.

Иван Гусятник никогда не интересовался политикой. За год революции прошла вереница политических деятелей, сменилось несколько министерств, но он с трудом назвал бы имена двух-трех революционных деятелей. С появлением же Ленина он насторожился, будто сразу учуял смертельного врага.

По закрытии магазина вечером, надвинув

низко картуз, долго шатался он по Невскому, втираясь в горячие толпы на Аничковом мосту и у Казанского собора.

Чей-то комариный голос развивал коммунистические идеи, и он дергался, бледнел, пожимал плечами, и, когда на оратора наседали противники, он присоединял свой голос.

– Грабь награбленное! Это что же такое? Ежели я честным трудом нажил, так, стало быть, у меня отнимать надо? Моррррда!

– Но-но, полегче, купец, – осаживал его великан солдат-гренадер. – В морду и мы умеем. А говорит тот правильно. И помещики и купцы – все вы, туда-сюда вашу... грабили, а у вас отобрать все надо.

– Господи, – шептал Гусятник, беспомощно озираясь.

Правду чуяло сердце Гусятника. Не к добру появился этот Ленин.

Когда товарищ – гостинодворский купец подсунул ему газету с обведенной синим карандашом гранкой, сердце у него куда-то провалилось, и он опустился на стул, как подрезанный. Или глаза ему изменяют? Нет, ясно сказано, он, Иван Гусятник, обложен Советской властью в миллион.

– Мил-ли-о-он. Да где я возьму его, когда у меня всего пятьдесят тысяч наберется? Вот крест...

Но рука, поднявшаяся к груди для крестного знамени, вдруг как бы заостенела и повисла в воздухе, и он услышал близко чей-то грозный голос:

– Лжешь! Подлый мародер! Поковырять у тебя в кубышке – не один миллион наковырять. Отольются тебе слезы матерей и сирот! Будь проклят!

VII

Двадцатый день сидит в тюрьме Иван Гусятник. Он упорствует, будет сидеть год-два, но не расстанется с деньгами.

– Купец, а купец, – говорит ему молодой красноармеец, приставленный к заключенным, – когда мощну повытрясешь, народу вернешь награбленное?

– Как перед богом!

– Ой, разменяют.

– А это что?

– Тебе, купцу, лучше знать, небось не один раз менял деньги. Ха-ха-ха.

VIII

Вместе с Гусятником сидел круглый, как вольдырь, кулак-трактирщик с Лиговки, обложенный в шестьдесят тысяч. Тоже пел Лазаря, упорствовал и думал отвертеться отсидкой.

Однажды вечером в камеру вошел чубатый матрос с тяжелым «мандатом» на боку; вид у него был серьезный. Он мигнул глазом трактирщику, и тот вышел за ним в дверь.

Прошло шесть дней, трактирщик будто сгинул. Гусятник поинтересовался у красноармейца о нем, и тот со смехом ответил:

– Ты про того толстопузого? Да его уже давно разменяли...

Гусятник вздрогнул, и тревожный огонек мелькнул в его глазах. Он смутно стал догадываться о настоящем значении этой фразы.

IX

Часто в бессонные ночи Гусятник думал о Царском. Эх, скорее бы на волю. Лабаз побоку, бог с ним, с наживой, и махну в Царское, в свой беленький домик. Самоварчик на террасе... малиновое варенье... сливки...

В одну из таких ночей заявился к нему тот чубатый, серьезный матрос, мигнул ему, как трактирщику, глазом, и он вскочил с нары как ошпаренный и, как теленок, поплелся за ним.

В темном дворе выросли перед ним несколько человек с винтовками и повели его вглубь.

«Разменяют», – пронеслось у него в мозгу, и впервые он понял настоящее значение этого загадочного слова.

Он заметался и крикнул надрывно:

– Братцы, каюсь, душегуб я, мародер. Только отпустите замолить.

– Ладно. Не скули, – сказал чубатый и взял его крепко под руку.